

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

ВАСИЛИЕМЪ ЖУКОВСКИМЪ.



И.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ  
1808.

**В. А. ЖУКОВСКИЙ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

---

**ТОМ ДЕСЯТЫЙ**

**ПРОЗА**

**1807—1811 годов**

**КНИГА 1**



**В. А. ЖУКОВСКИЙ**

---

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ  
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ**





ПРОЗА

1807—1811

ГОДОВ



## СМЕРТЬ

### РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

Недалеко от Безансона<sup>1</sup>, в маленькой деревеньке, жил честный, отставной бригадир, Мервиль, старик семидесяти лет, совершенный образец добродушия и любезности. Будучи еще молод, он служил в армиях Людовика XV<sup>2</sup> и вместе со всеми французами воображал, что умереть за славу короля и умереть за благо отечества одно и то же; но едва по заслугам своим получил он бригадирский чин, как увидел, к совершенному ужасу, что был орудием угнетения народов. Лишась одушевляющей мечты, он разлюбил и самую службу, потребовал отставки, не принял пенсион, которым хотели наградить его за храбрость и верность, и стыдился почтенных своих ран, которые казались ему не изглаженными следами юношеских заблуждений. Возвратясь в деревню, родину, давно им оставленную, он начал обрабатывать поля, небогатое наследие предков, и все часы, в которые был свободен от забот хозяйства, посвятил философии и музам. Посредственность состояния не позволяла ему делать больших издержек; он должен был ограничить себя весьма малым обществом: два или три испытанных друга и довольно. В числе их был Шевро, член Безансонского парламента, человек особенно им любимый и особенно достойный любви его.

Природа наградила Шевро завидным расположением ко всему доброму и благородному. В характере его не было той легкости, которую обыкновенно приписывают молодым французам; он имел более жару, нежели пылкости, более меланхолической задумчивости, нежели мягкости. Впечатления редкие, но глубокие, были неизгладимы в душе его; никогда не обманывала его наружность, никогда лицо его не противоречило сердцу. Имевши право благодарить Провидение за величайшее благо, какое только оно может даровать человеку, за родителей добродетельных и просвещенных, родителей, которых деятельная любовь образовала его душу, он, при всех необыкновенных качествах, полученных от природы, был человеком твердых и непоколеби-

мых правил честности, с сильнейшим патриотизмом, был совершенно достоин иметь друга, подобного Мервилю.

Шевро любил — один раз в жизни — девицу, прелестную и видом, и милым своим сердцем, Эльмину, дочь парламентского президента в Безансоне. Препятствия, которые несколько лет противились их союзу, казались непобедимыми; но то, что в слабом сердце умерщвляет любовь, то самое в сердце Шевро ее животворило. Сама Эльмина была привязана к нему всеми узами любви и почтения; по несчастию, она была богата, а ее родители надеялись к миллиону дочери присоединить другой миллион или, по крайней мере, один из знатнейших чинов во всем королевстве. Эльмина терпела жестокие гонения за любовь свою к Шевро, но она с твердою решимостию сказала своим родителям, что никакое убеждение, никакая сила на свете не исторгнут из ее сердца привязанности к сему человеку, столь привлекательному и благородному, что она или будет его женою, или пойдет в монастырь. Уже несколькими женихам было отказано; Эльмина была непреклонна. Наконец убедительный пример одной родственницы, которая, не успевши сделаться маркизою, потеряла навсегда спокойствие и увидела все свое имение на туалетах танцовщиц и на груди оперных певиц, смягчил ее родителей. Шевро получил позволение посещать их дом, наконец согласились принять его в свое семейство. Тут любовники, в минуту блаженнейшего соединения, испытанные горестию и терпением, почувствовали, что значит несчастье, и к каким чистым радостям иногда оно приготовляет.

Эльмина скоро должна была сделаться матерью. Воображение Шевро единственно устремлялось на ту неизъяснимо сладостную минуту, в которую блаженство его увеличится обладанием младенца. Наконец наступила сия минута, с такою радостию, с таким нетерпением ожидаемая: Эльмина дала жизнь прекрасному сыну.

Радость отца была несказанна, но то была важная, задумчивая радость чувствительного человека, который, в минуту своего блаженства, ощущал всю великость должностей, ему принадлежавших, и в глубине души произносил обет всегда почитать их священными. Эльмина счастливо разрешилась от бремени, но вскоре, после многих припадков, ей приключилась опасная болезнь, которая наконец сделалась смертельною. Шевро не отходил от постели; он был свидетелем ее неописанных страданий; видел, как юность, едва расцветшая, боролась с могуществом смерти, и как наконец истощенная натура уступила. Эльмина в последний раз с унылою, трогательною улыбкою устремила глаза на своего супруга, в последний, ослабевшею рукою, со смертною конвульсиею прижала руку его к своему сердцу и томным голосом, с последним вздохом жизни, сказала: «Шевро, не забудь любви моей!».

Никакое завещание умирающего друга не исполнялось так свято; Шевро с спокойнейшим равнодушием приготовил все для погребения своей Эльмины. Он смотрел на ее тело и не плакал: остался один — мрачный, неподвижный — и укорял себя в нечувствительности; на другой день после погребения попадаетея ему нечаянно на глаза ожерелье Эльмины, подарок супруге в день ее рождения: тут пробудилось его сердце; он упал на землю и залился слезами. Вид младенца, милой причины ее смерти, всякий день растревлял его раны и, несмотря на то, был единственным утolenием его скорби. Уже на ясном лице невинности изображалась вся приятность, вся трогательная чувствительность Эльмины; с каждым днем сие сходство увеличивалось. Шевро не мог смотреть на своего сына без скорбного и вместе сладостного содрогания; в меланхолических взорах его изображалось какое-то горестное, мучительное наслаждение; смотря на него, он вспоминал о протекшем, о часах прежнего счастья, чистого, незабвенного и, увы, невозвратимого; он любил своего сына с некоторою страстию: в сей любви соединены были все его радости, все прошедшие и все настоящие.

В несколько лет Луи сделался милым, прелестным мальчиком, предметом зависти матерей безансонских. Красота младенца одушевлялась веселостию, живо напечатленною на цветущем лице его. Шевро устремлял все усилия на образование своего сына: он наслаждался так, как немногие отцы наслаждаются, следуя за ним с одной степени совершенства на другую. Луи начинал уже свободнее объяснять все маленькие идеи, все милые чувства невинной души своей; уже обнаруживались в нем все признаки ясного, высокого ума и сердца, способного ко всему возвышенному и благородному; но вдруг, зараженный оспою, после ужасного и тяжелого борения с болезнию, он умирает на руках отца своего. Шевро, свидетель страдания Эльмины, был свидетелем и страданий невинного младенца; видел его, подьемающего руки, слышал трогательный голос, молящий о помощи, которой он подать был не в силах, наконец, увидел его хладного и неподвижного. Сей последний удар, сильнейший первого, растворил все прежние раны сердца; все прежние страдания возобновились с новою, неописанною силою. Потеряв два существа, драгоценнейшие для души своей, он потерял с ними привязанность ко всему земному, привязанность и к друзьям, и к самому себе. Несчастный, не имеющий вне себя ничего любезного, наконец, и от самого себя отвращается. Весь пламень его души, прежде устремленный на Эльмину и Луи, на сии священные предметы любви чистой и бескорыстной, должен был сокрыться во глубину ее и там истощаться бесплодно: ужасные мысли, которыми оскорбленное человечество мстит Провидению, когда почитает его неправым, оста-



лись единственной пищею сей души, раздраженной мучением. Погруженный в такое безмолвное и угрюмое уныние, он мог еще своим воображением преобразить всю окружающую его природу в обитель ужаса и бедствия. Посреди мира Божия остался он с таким сердцем, с каким друг человечества обитает в земле, деспотом угнетаемой.

Единственный голос, иногда доходивший до его сердца, был голос Мервиля. Старик скоро из речей Шевро узнал весь ужас его положения: он щадил его, и в разговорах своих не смел напоминать о той потере, которая так страшно омрачила судьбу сего несчастливца. Иногда старался он оживлять его увядшую чувствительность, обращая ее на тот или на другой предмет и надеясь произвести в его сердце какое-нибудь спасительное потрясение. Наконец, видя, что Шевро становится час от часу мрачнее и угрюмее, заключил, что самая дружба запрещала щадить его: тогда решился он очистить и исцелить раны своего друга прежде, нежели яд их мог вкратиться во внутренние сосуды жизни и уничтожить самую возможность исцеления. Скоро представился случай исполнить сие благодетельное намерение. Шевро, более из вежливости, нежели по внушению сердца, и желая заплатить Мервилю за его частые посещения, назвался приехать к нему в деревню.

— Душа ваша расстроена, — сказал старик, положив с нежным участием обе руки на плечи своего друга, — и вы дурно делаете, любезный Шевро, что совершенно в самого себя углубляетесь; позвольте другу увидеть ваше сердце; и если моя постоянная к вам привязанность дает мне некоторое право на вашу любовь, то не скрывайте от меня причины сего беспрестанного, угрюмого уныния! Вы так часто называли меня своим отцом!.. И я жил в свете, и я был счастлив!

— Право — сказал Шевро с видом человека, в котором собственное несчастье уничтожило всю способность чувствовать чужие горести.

— Я имел жену и детей и потерял их: сердце мое все испытало, что только человеческому сердцу испытать возможно. Я знаю, какво разрушить вдруг все сладостные связи, уничтожить все милые надежды сердца, и несмотря на то, Шевро... несмотря на то, были еще ужаснейшие минуты в моей жизни, минуты, в которые друзья мои, существа, обладавшие моим сердцем, явились предо мною в виде предателей. Тогда отчаялся я в человеческой натуре, тогда усомнился в бытии добродетели. Живучи среди людей, я почитал себя в кругу беснующихся или злодеев, и только вы, любезный Шевро, и только подобные вам, можете понять, сколь бедственно было мое состояние. О мой друг, о, если б по собственному чувству могли вы знать сие ужасное состояние!

— Что ж, если мне известно ужаснейшее? От общества человек можно бежать; есть пещеры и степи, но, Мервиль...

Он замолчал, и с глубоким вздохом устремил глаза на небо.

— Но, Шевро! Зачем говорить о том, о чем и мыслить уже страшное бедствие!

Он опять на минуту умолк; наконец с глубоким душевным прискорбием и с видимым трепетанием всех членов произнес: «Куда и как бежать от Бога?». Он вскочил с места и пошел стремительно в сад, желая избавить себя от такого разговора, который слишком был для него мучителен. Мервиль за ним последовал.

— Ты в руках моих, Шевро, ты непременно должен мне открыться. Мой друг, говори со мною, как бы говорил с собственной мыслию! Ты недоволен Творцом своим!

— Ужасно, если это правда, Мервиль!

— И еще было бы ужаснее, когда бы ты имел право! Но, Шевро, — прибавил он твердым, решительным голосом, устремив на него блистающие взоры, — нет, ты не имеешь права; ты не можешь иметь его. Недовольный Творцом, недоволен и всем, что превосходно и совершенно: сущая невозможность для души, способной мыслить! Пойми себя, мой друг; ты недоволен своим *понятием* о Творце. Смотри же, как много выигрываешь от сего единственного объяснения. Когда бы причина заключена была в самом *Боге*, Существо бесконечно тебя превышающем, бесконечно могущем, тогда какое прибежище могло бы для тебя остаться, для тебя, не властного переменить законов мира, не властного воспротивиться тому потоку, который неодолимо тебя увлекает своим стремлением? Когда же причина заключена в одном только понятии твоём о Боге, тогда, Шевро, тогда осталась еще надежда. Мой друг, уничтожим сие ложное понятие и вместо обманчивой точки зрения поспешим открыть настоящую и верную.

Они приблизились к крутому скату возвышения, на котором стоял Мервилев дом; перед ними простиралась обширная долина, усеянная деревьями, рощами, зелеными холмами. Старик посадил своего друга на дерновую скамью, под сень густого каштанового дерева; простер руку на восхитительно прелестную окрестность, на поля, обогащенные жатвами, на пажити, оживленные стадами, на пригорки, украшенные виноградом, и с выражением убежденного человека сказал:

— Обвиняйте Провидение; я буду его оправдывать.

— Как, Мервиль, насекомому восставать против Всемогущего? Созданию одной минуты против Вечного возмущаться? О нет, позвольте не обожать и безмолвствовать. Бог там, где я говорю...

— И там, где ты мыслишь, Шевро!

— И для чего же мне говорить, Мервиль? Беретесь ли объяснить все сомнения ума моего? Усмирите ли все буйные чувства моего сердца?

— Все, мой друг! Нет, я стою на краю гроба, и, может быть, последних минут, оставленных мне Провидением, будет слишком мало, может быть, уже не успею убедить тебя. Никогда остроумие человека не бывало так изобретательно и язык его так красноречив, как в минуты, когда он дерзал судить своего Бога; но если какая-нибудь чрезмерная скорбь, какое-нибудь мучительное сомнение тебя угнетают...

— Хорошо, Мервиль, вы принуждаете меня обнаружить пред вами мое сердце; хорошо, я буду говорить. Поверьте, не утрата моих любезнейших делает меня теперь несчастным; их уже нет, и я победил свою горечь, но взоры мои, отворотившись от их гроба, устремились на человечество и природу. О друг мой, человек для собственного спокойствия должен не мыслить, а только обманывать себя мечтаниями его спокойствия в незнании бедности житейской... Иду во след за каждым бытием, за каждою силою, действующею в природе — они исчезают в разрушении. Прислушиваюсь к восклицаниям и песням радости — они обращаются в стенания печали. Рассматриваю лицо, оживленное улыбкою блаженства и блеском наслаждения — через минуту оно обезображено конвульсиями смерти. Все, все в природе лежит на разрушении, погибели, ничтожестве. Ангел жизни насаждает бытие единственно для того, чтобы ангел смерти, за ним летящий, всегда имел готовую жертву. Надежды на счастье, которое всегда сокрыто в глубине отдаленного, украшают жизнь единственно для того, чтобы минута ужасного содрогания смерти казалась для нас еще ужаснейшею, и если посмотрю на всю сию пучину страдания, на всех издыхающих на одре кончины, в минуту мучительного уничтожения, на всех оставленных и осиротевших; если всякой глыбе земли, попираемой ногою моею, могу сказать: ты могила миллионов, которые терзались, обнимали с трепетанием драгоценную жизнь и, отторгнутые от нее, погибли; если к каждой пылинке, у ног моих лежащей, говорить могу: и ты была чувствительною нервою, и ты содрогнулась в минуту разрушения; если должен обитать в природе, как в страшном и необъятном хранилище трупов, костей и праха, тогда могу ли внять голосу моего друга, могу ли думать о счастии, могу ли радоваться и улыбаться? Нет, все мои благодарнейшие и возвышеннейшие понятия уничтожены: во мне уже нет оной всеоживляющей мысли о бесконечном милосердии; ничего, ничего не осталось в душе моей, кроме грозного понятия о всемогуществе. Мервиль, вы указали на сии прекрасные цветущие долины, как будто бы одно их зрелище могло быть довольно убедительным; но, Мервиль, и сия красота, и сия жизнь, которою здесь все дышит и все так полно, они возникли из разрушения и опять должны исчезнуть в разрушении. Нет, нет, самая возможность счастья для меня погибла: натура потеряла свое очарование в глазах моих.

— О, как ты несчастлив, друг мой! Но для чего же прежде сия самая натура, которую теперь находишь пустынною и мертвою, приводила тебя в восхищение? Шевро, вспомни о том прекрасном тихом вечере, когда на самом этом месте сидел ты подле Эльмины; вспомни, как все тогда казалось тебе исполненным жизни и великолепия; как далека была душа твоя от мрачной идеи о смерти, от горестного помышления о ничтожности!

— Я не забыл о нем, Мервиль; то были часы моего счастья, сии толь скоро промчавшиеся часы моего счастья! Воображение, одушевленное радостью... о, как быстро преобразует оно и самую пустыню в сад Эдемский!

— Право? Ты считаешь это возможным для воображения?.. Итак ему возможно еще более; волшебство его нередко из самого сада Эдемского творит ужасную пустыню! Такому ли путеводцу захочешь следовать, путеводцу, который сам прежде повинуется направлению чувства и потом собственным полетом далеко отклоняется от пути истины? Ограничь рассудком сию беспорядочную силу воображения; пускай за сими пристрастными взглядами последует новый беспристрастный взгляд на творение: тогда сладостный мир снова поселится в душе твоей, мрачная твоя горесть обратится в тихое уныние, и борьба со враждебною судьбою в спокойную покорность Всемилосердному. Ужели не признаюсь, что в природе есть горе? Скажу ли, что образ смерти не ужасен? Нет, я противоречил бы тогда собственному непобедимому уверению. Я чувствую, как и другой, что жребий мой кончина; ужасы смерти не пощадят меня, как и самой ангел смерти; ах, может быть, и то, что робкий слабый старик встречает их с сильнейшим содроганием, нежели юноша. Но ты, Шевро, ужели не согласишься, что жизнь имеет радости? Ужели ты, обладавший некогда Эльминою, и теперь благодарный против Того, Кто наградил тебя сим благом, ужели осмелишься не признать их, ужели отречешься от сих возвышенных радостей, которые даны тебе вместе с жизнью?

— Нет, Мервиль, я не отрекусь от них.

— Итак, наша жизнь имеет свои радости?

— Непостоянные, мечтательные!

— Какая несправедливость, Шевро! А наши горести разве прочнее и существеннее? Ужели слезы восхищения, которые блистали в глазах твоих в то время, когда, на самом этом месте, сидел ты подле Эльмины и был так счастлив, мечтательнее сих горьких слез, которые теперь из тех же самых глаз излиться готовы? И сии самые слезы ужели не могут скоро иссякнуть? Друг мой, бытие наше *имеет* радости существенные, разнообразные: на это не может быть возражения; остается решить

вопрос: стоит ли радость горестей, и жизнь смерти? Если ты сомневаешься...

— И могу ли не сомневаться, Мервиль? Вся бедность человека, перед глазами моими беспредельная, неописанно разнообразная. Но радости человека? О, сколь они малочисленны, и сии малочисленные сколь несовершенны и ничтожны!

— Так думает несчастливец в минуту скорби и ропота. Шевро, есть тысячи, которые в жизни своей были стократ блаженнее тебя — я мог бы на них указать, но я хочу говорить о *твоей* жизни. Итак, мой друг, ты думаешь, что радостей было для тебя слишком мало?

— Я в этом уверен.

— Ах нет, Шевро, ты в заблуждении!

— То есть мои чувства приводят меня в заблуждение, но кто же, кроме чувств, может быть правосудным судьей и счастья и несчастья, и скорби и удовольствия?..

— Но самое сие чувство...

— О, оно во глубине моего сердца, и никакие убеждения рассудка не извлекут его оттуда.

— Я и не думал о убеждениях рассудка. Всякое чувство, без сомнения, должно быть собственным своим судьей, но будущее и протекшее суду его не подвержены. Любезный Шевро, густое облако распространило ужасную тень на всю твою жизнь, тень, которою все обезображено и все омрачается. Глядишь ли на протекшее: оно для тебя мертво! Какое воспоминание своим совершенством, своею силою и полнотою может сравняться с тягостным ощущением настоящих страданий? А будущее, что для тебя будущее? Точка настоящего, на целую жизнь распространенная. Ты придаешь бесконечность своей печали, думая, что вечная потеря должна иметь и следствия вечные: при таком несчастном состоянии сердца, когда всякое бедствие, тебя постигшее, столь мрачным, столь грозным и непобедимым тебе представляется; когда прелестные призраки утраченных радостей блистают так редко и тускло, подобно немногим звездам, посреди туманного неба мелькающим, как можешь ты полагаться на приговор своего чувства? Способен ли свесить горесть и радость и самую смерть признать достойною ценою жизни? О Шевро, если бы не боялся я нанести чрезмерно чувствительной раны твоему сердцу...

— Моему сердцу чувствительной раны!

— Хорошо, мой друг, слушай: я желал бы сказать тебе голосом Всемогущего: «Шевро, мой приговор уничтожен, да будет жизнь твоя подобна жизни других людей! Возвращаю тебе Эльмину; она перед тобою, и на руках ее тот младенец, которого бытие было причиною

ее смерти!» И когда бы с живым восторгом ты устремился в ее объятия, когда бы с неизреченным наслаждением отца прижал к сердцу своего сына, тогда, по усмирении первого бурного чувства, при первой спокойнейшей улыбке я взял бы тебя за руку и сказал: «Шевро, чего более в природе, удовольствия или печали?». О, каким бы восхитительным блеском тогда озарилось для тебя протекшее; в какой бы легкий, едва приметный туман обратились сии облака, толь грозным сумраком покрывающие твою участь! Но в чем бы произошла тогда перемена, в самой ли твоей жизни или только в твоих понятиях о жизни? Прошедшее не осталось ли бы таким же точно, каким оно было прежде, а будущее также неизвестным и непроницаемым для очей смертного? Шевро, сказал бы я еще, сие чувство блаженства достойно ли быть куплено ценою страдания? И сколь бы ничтожным тогда представилось глазам твоим страдание; сколь быстро поднялась бы вверх его чаша, которую оно теперь своею тяжестью к земле приклоняет! Извини, мой друг, если словами своими усиливаю твою горесть. По несчастью, я не имею сего всемогущего гласа; но ты, Шевро, ты можешь испытать могущество рассудка. Остановись на минуте настоящей и раздели свою жизнь! Твое будущее не может остаться таким, как теперешняя твоя горесть его изображает... Но всякую радость, но всякое счастье, возможные для ума моего, ты примешь теперь за нарушение любви супружеской и родительской. Итак, смотри на одно прошедшее, старайся быть непристрастным в своем приговоре, испытай, чего более ты имел в жизни: удовольствия или печали!

— Какой разговор, Мервиль! О, сколь противно моей душе то, что должен вам сказать в ответ! Я гнушаюсь неблагодарностию и теперь могу ли сам сделаться неблагодарным? Могу ли даже иметь наружность неблагодарного? Нет, мой друг, нет, скажу, что были радости в моей жизни.

— Скажешь, не будучи в это уверен?

— Скажу, потому что в этом уверен. О, тот самый Творец, который одарил меня сею жизнью, тот самый благословил меня и многим радостями. Видите, Мервиль, как я охотно с вами соглашаюсь!

— И должен согласиться! В противном случае, не имевши радостей, мог ли бы ты, Шевро, так унывать об их утрате и мог ли бы предаваться такой чрезмерной печали, когда бы самые сии радости были ничтожны? Ты хочешь судить о своей жизни, мой друг, но по каким понятиям будешь судить о ней? По счастью и несчастью; по слезам и улыбкам; по надеждам, исполнившимся и разрушенным; по всему мечтательному и существенному?

— Как же иначе?

— Скажи лучше, как несправедливее? От чего мы так часто бываем неправыми обвинителями своего Создателя? От того, что наши понятия, слабые и ничтожные, всегда полагают такие границы, каких не может быть в натуре. Мы любим разделять и отделять, когда в самой вещи все смешано и неразделимо. Нередко горесть бывает не горесть, а наслаждение. Ужас имеет свой сладостный трепет; несчастье приятно в воспоминании; чувство слабости приводит друга в объятия друга; унылость располагает сердце ко всякому нежному, следовательно, сладкому ощущению; нужда производит в нас доверенность к нашей силе и нашему достоинству. Так, друг мой, так судя о жизни... Но могу ли сего требовать от тебя, обремененного печалью! Выслушай меня, Шевро, меня, который был несчастлив, который сам, подобно тебе, всего лишился, который, как и ты, имел душу, одаренную сильными чувствами! Уже волнение страстей усмирилось в моем сердце. Ничто более не может меня сделать пристрастным к небу, ни радость, ни скорбь чрезмерная! Состояние моего духа есть спокойствие; с сим вожделенным спокойствием обращаю назад свои взоры, смотрю на протекшее и благодарю моего Создателя: там ясные минуты многочисленнее мрачных; добра несравненно более, нежели зла. В таком же виде представляется мне и жизнь миллионов, в таком же виде и бытие зверя, и бытие насекомого, ибо и они вышли из рук того же Бога, который и меня вызвал из ничтожества; и наконец, Шевро, как благодарить тебя за усовершенствование моего блаженства? Как благодарить за то восхитительное сияние, которым ты озарил окрест меня природу? Итак, каждая глыба земли, которую нога твоя попирает, есть могила миллионов? О мысль животворящая! Сии миллионы были здесь, наслаждались бытием, ощущали себя блаженными; каждая пылинка, лежащая у ног твоих, была чувствительною нервою! Мечта неизъяснимо сладкая! Сия нерва чаще содрогалась от наслаждения, нежели от скорби! Но спрашиваю, для чего же сия радость не бесконечна, для чего находим в природе смерть?

— Предвижу ваш ответ, Мервиль! Когда есть жизнь, скажете вы...

— Так, конечно, тогда и смерть необходима. Смерть есть условие жизни, смерть, истекающая всеми своими ужасами, со всем своим мучением из той же самой природы, из которой и радости наши истекают. Теперь захочешь ли спросить, Шевро, для чего есть *жизнь* в природе?

— Могу спросить, для чего *сия* жизнь, для чего сия слабая, скоро преходящая, таким многообразным страданиям подверженная натура, а не другая, совершеннейшая, досталась в удел человеку?

— Что ж мне отвечать на такой вопрос? Представить ли глазам твоим чертеж сознания? Указать ли на сию неразрывную цепь, в кото-